Марина МАСЛОВА

Псы и голуби

О парадоксах в прозе Николая Гребнева и Валерия Латынина

В заголовке статьи использовано название одноимённого рассказа курского прозаика и публициста Николая Гребнева, но именно рассказ Валерия Латынина «Милосердие» явился причиной появления этой статьи.

Оказавшись вместе с Валерием Латыниным под одной обложкой третьего, «белорусского», выпуска «Дня литературы» за текущий год *(№3-2019)*, с особенным вниманием перечитала я его рассказы из цикла «Милосердие». На собственное присутствие в этом журнале делаю акцент потому, что именно прозе Николая Гребнева посвящена моя статья, напечатанная здесь. То есть вижу в этом знаменательное совпадение, некое свидетельство того, что уклониться мне от сближения этих двух писательских имён было уже невозможно, ну просто была обречена…

Рассказ Валерия Латынина «Милосердие», давший название всему циклу публикуемых в журнале произведений, занимает от силы две страницы, меньше двух, но его содержание буквально опрокидывает читателя, потрясённого парадоксом.

Парадокс, как мы помним, это такое явление (ситуация, положение, обстоятельство), которое вполне может существовать в реальности, но не находит у нас логического объяснения. Как мы ещё помним, А.С. Пушкин считал парадокс таким явлением, которое сродни гению:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…

Одно из таких чудных открытий я сделала однажды весной, прочитав трёхтомник прозы Николая Гребнева. В рассказе «Псы и голуби» впервые открылся мне тот самый парадокс, который поначалу показался слишком дерзким допущением, ассоциацией *неожиданной и странной* (как и полагается в соответствии с греческим значением слова). Но рассказ Валерия Латынина не только темой подтвердил догадки о взаимозаменяемости «псов» и «голубей», но даже и на уровне текстовых деталей вдруг зазвучал в согласии с такой идеей.

Теперь подробнее о сюжетах произведений.

«Псы и голуби» рассматривались мною в статье «С высоты Божьих апартаментов…», но здесь уместно повториться в деталях.

Двенадцать неполных страниц занимает в книге прозы Николая Гребнева рассказ «Псы и голуби». События успевают развернуться и свершиться за один вечер и утро следующего дня. Никаких сюжетных изысков, ни одной усложнённой завязи, фабула линейна в своей последовательности, как внезапно пробивший асфальт цветок. Вечером конфликт, утром развязка. Вчера ещё только бутон, сегодня дивные лепестки над серым поземьем… Так стремительно раскрывается Володькин характер, обещая читателю зрелую личность.

А сюжет вкратце таков. Володька, «ясноглазый крепыш с тёмно-русыми кудрями», воздушный десантник, у которого ещё свежи воспоминания об армейской службе, в штормовую погоду забрался на крышу гаража, где была оборудована его голубятня, чтоб подвергнуть испытанию пару своих любимых чистопородных голубей, Саксонца и Монашенку. Подброшенные вверх, будто камни, голуби, достигнув положенной высоты, стремительно расправили крылья и ушли в небо. В эту минуту на голубятню заглянул дед Евсей, местный сторож, бродивший по округе в неизменном сопровождении стаи бездомных дворняг, беззаветно любивших и тщательно охранявших своего кумира, которого кормильцем, впрочем, вряд ли можно назвать. Дед оставил у Володьки маленького щенка овчарки, выменянного «за чекушку самогона» у Машки-алкашки, лихой сынок которой грозился замучить животину до смерти. По поводу утраченной чекушки дед сильно переживал, однако щенка было «жальче». Ему грозила участь пойманных голубей, бросаемых ватагой пацанов в костёр живыми. Евсей полюбовался красотой уходящих в бездонное небо Володькиных голубей и пошёл со своей собачьей сворой восвояси. Однако к голубятне тут же подступила свора озлобленной шпаны, требующей отдать щенка. Володька помнил слова армейского капитана-инструктора, что главное для парня – уметь постоять за себя, а при необходимости защитить Родину, потому был готов к борьбе и легко разобрался с нападающими, несмотря на их численный перевес. Спасённый щенок доверчиво устроился в широких его ладонях. Голубей его в это время снесло ветром далеко в сторону.

Утром Володька обнаружил на крыше изувеченную Монашенку и взъерошенного, мечущегося над ней одинокого Саксонца…

…Мигом забравшись наверх, на чёрной смоляной крыше возле голубятни увидел Володька и голубку, распростёртую и недвижную. Даже изувеченная, она не лишилась редкостной красоты своей. Только расписной галстук на широкой грудке казался теперь не дивным сочетанием цветов, а пятном кровавым. Володька… взял в руки Монашенку и, открыв леток, выпустил всех голубей на волю. Прижимая голубку к груди, глядел он, как стая кругами шла в безмятежную, бездонную высоту.

Этот эпизод красноречиво свидетельствует о возможности созвучия человеческой и голубиной судьбы. Не зря же в Евангелии сказано: будьте просты как голуби…

И далее писатель распахивает широкие духовные горизонты своей, казалось бы, незатейливой ранней прозы:

Виделось далеко и ясно. В той стороне, откуда исходило вчера ненастье, словно дозорные витязи в шлемах, угадывались белокаменные храмы с позолотой на куполах. Тягостные чувства смешались со светлым восприятием всего, что окружало. То ли от дуновения свежего ветерка, то ли от лучезарного сияния неба слезились глаза… Птицы ещё не были в зените. Но они стали терять очертания. Расплываясь и мерцая, и вовсе слились с голубым простором…

На первый взгляд, Володька просто отпустил птиц. Но если каждому слову здесь, помимо его прямого значения, придать и символическое значение, нарисуется картина преображения души человека. Замечает ли писатель, какой мир нечаянно распахивает для своего героя? *Если бы в слове не было Бога* (строка поэта Геннадия Иванова), этот мир, может, и не открылся бы нам теперь, сколько бы мы ни читали строчки. Но, видимо, в том и тайна художественного слова, что оно таит до времени свой глубинный смысл, открываясь читателю лишь по мере его стремления не довольствоваться поверхностным, очевидным. И ещё в большей мере тут работает другая закономерность. Художественное слово «отдаёт» свой смысл, глубину свою, даже, может, подсознательно вложенную в него художником (ибо дар слова – Божий дар, и не всякий пророк пророчествует сознательно), только тогда, пожалуй, когда приходит этому смыслу срок, когда люди и время готовы принять его.

Вот и летали Володькины голуби целых тридцать пять лет (с момента создания рассказа «Псы и голуби») над встревоженной, а потом и вовсе разорённой страной-*голубятней*, пока не стали для нас убедительным символом той свободы, которая даёт человеку *светлое восприятие всего, что его окружает*. Той свободы, что душу *возносит в зенит* где-то там, за незримым пределом, где *теряются очертания* естества, где даже самая *изувеченная* душа *не лишается редкостной красоты своей*, изначально дарованной Богом. Ведь не рождается человек сразу подлецом или вором. Он становится либо «псом», либо «голубем» уже по земным своим предпочтениям.

И тут время вспомнить содержание рассказа Валерия Латынина.

Рассказ «Милосердие» настолько краток, что хочется назвать его миниатюрой.

Завязка интригует:

Полкан тревожно выл ночью. Тётка Марфа несколько раз вставала с постели и, открыв форточку в маленьком подслеповатом окне, зло цыкала на пса. Гремя цепью, собака лезла в будку, но через некоторое время вновь раздавался жалобный, холодящий душу вой.

Старуха вздрагивала. Высвободив из-под одеяла сухое, сморщенное лицо, спешно крестилась на образа Божьей Матери и святых угодников: «Господи, милостивый, Пресвятая Богородица, отведи лихо-беду!..».

Где-то далеко, под стенами крепости, слышались автоматные очереди. «Чтой-то делается? Сколько душ безвинных загубили, ироды? И как Бог таких извергов терпит?».

Не сразу становится понятен характер сюжета: что за крепость и почему там стреляют? в какие времена разворачивается действие? То есть рассказ изначально представлен не как событийное повествование, а как некая притча вне времени и пространства. И хотя далее выясняется, что действие происходит во время Великой отечественной войны в каком-то маленьком городке России, на его окраине, по авторской лаконичности ясно, что все внешние координаты не имеют тут особенного значения.

По дороге немцы и полицаи гнали колонну евреев. В большинстве – это были женщины с малолетними детьми, старики и старухи. Заклинания слышались сразу на нескольких языках: идиш, белорусском и русском. Дети плакали.

– Господи! – на глаза тётки Марфы навернулись слёзы. Размазывая их по щекам и сморкаясь, она засеменила подальше от изгороди. – Опять в крепость на расстрел ведут. Сколько кровушки пролито, за что кара такая? Детей хоть бы пожалели, охо-хо…

Это была картина глазами тётки Марфы. Далее Марфа уходит «за кадр» до самой концовки произведения, а перед нами стремительно разворачивается динамично прописанная сцена: идущая в конце колонны молодая женщина с девочкой, поравнявшись с плетнём тётки Марфы и увидев приоткрытую дощатую калитку, решительно вталкивает в чужой двор свою дочь и спешит влиться общий строй уже одна. Полицай вскоре замечает изменение в строю смертников, бьёт женщину кулаком по лицу, требуя сказать, куда она дела ребёнка. Она молчит. Полицай стреляет. Это происходит около плетня Марфы, фашист указывает полицаю на калитку: искать здесь!

Полицай открыл калитку. Во дворе было тихо, неподалёку в саду, не вылезая из будки, оскалился огромный волкодав. Направив ствол карабина на собаку, полицай боком подошёл к хате…

Пока читаем мы этот эпизод, как-то бегло воспринимаем ситуацию: двор, сад, собака… И что огромный волкодав, увидев чужого во дворе, почему-то всего лишь оскалился… Не вылезая из будки…

Потом, когда захочется вернуться и ещё раз пройтись взглядом по тексту, понимаешь, что эта вот фраза – «не вылезая из будки…» – тут самая многозначительная…

Полицай бранит старуху, она божится, что никакой девчонки в дом не пускала и никого не видела во дворе. Она говорит правду.

И вот эта замечательная концовка малого рассказа, которая и рождает в нас чувство счастливого парадокса, отзывающегося очистительным просветлением:

Тётка Марфа долго смотрела из-за плетня, как поднимается пыль за колонной обречённых на гибель людей. Нескоро услышала она жалобное поскуливание Полкана. А когда услышала, обернулась и обомлела.

Что может предположить в эту секунду читатель? Что увидела Марфа?

Кому-то может взойти на ум и самое жуткое… Всё-таки волкодав, хоть и поскуливающий перед хозяйкой…

Собака стояла и повиливала хвостом около своей будки, в которой, свернувшись калачиком, спала маленькая черноволосая девочка.

Да, самое неожиданное в этом рассказе – его название.

Вернее, даже не так. Название мы видим перед началом чтения. Но до самой последней строки повествования не можем уловить, к кому из персонажей его следует отнести, это милосердие. И вот – удивительный финал. Как объёмно сразу становится наше восприятие: милосердие, оказывается, не человеческое. Милосердие собачье!

Объёмно в том смысле, что к подобному парадоксу легко подключаются всевозможные ассоциативные наблюдения, становится возможной символизация отдельных образов, слов.

Вот, к примеру, диалог женщины с конвоиром:

– Голубчик, – протянула она руки к полицаю. – Пожалейте ребёночка, в чём повинна маленькая девочка?

Полицай отстранился от женщины:

– Ещё чего? Нашла голубчика. Отвечай, дура, где девчонка?..

Здесь яркая символическая мета: полицай отказывается от именования *голубчик*. То есть бессознательно предпочитает родственность цепному псу?

А настоящий, природный пёс, мощный волкодав, наоборот, отказывается от злобности цепного охранника, являет образ голубиной нежности, впустив девочку к себе в конуру. Происходит будто по библейскому принципу: если люди замолчат, то камни возопиют. А здесь: если люди забыли о милосердии, Творец пробуждает его в собаке. Помнится, писатель Борис Агеев, когда я рассказала ему о том, как мой кот помиловал маленьких мышат (отчего я испытала немалое потрясение), напомнил мне закон животного мира: дикие звери не едят младенцев друг друга. Значит, не станут они обижать и младенцев человеческих. Собственно, доказательства этому искать не нужно. История, рассказанная Киплингом, знакома всем. Да и современные писатели не обходят стороной тему милосердия диких животных. Вспоминается «Возвращение росомахи» Камиля Зиганшина, «Белоушко» Павла Кренёва.

В рассказе Валерия Латынина дело не столько в милосердии животного как таковом, сколько в идее противопоставления человека и зверя. Зверь человечнее, а в человеке господствует звериное. Можно сказать, что и эта идея не нова. Ну, в конце концов, нет вообще ничего нового под солнцем, о чём горевал ещё Екклесиаст. Только «Милосердие» Валерия Латынина сегодня имеет для нас значение притчи, которая не просто убедительно «срабатывает» на морально-нравственном уровне, но и вступает в тесное взаимодействие с современностью.

Разделённые временным отрезком в тридцать пять лет (если только миниатюра не написана задолго до публикации), эти два произведения, «Псы и голуби» Николая Гребнева и «Милосердие» Валерия Латынина, объединяясь в современном литературном процессе, внезапно «детонируют» (не в музыкальном значении!) и создают художественно действенную ударную волну, парадоксально пробуждающую сострадание читателя.

Александр МЕДВЕДЕВ

Радужный мост над житейским морем

О книге Александра Чашева «Отцово наследство»

В книге архангельского писателя Александра Чашева «Отцово наследство» под одной обложкой собраны повесть, миниатюры, байки, сказки и очерки. Жанровое и стилистическое многообразие служит единой цели: показать красоту русского Слова, значение родного языка и сохранение традиции для современного человека. Огромной радугой во всём своём многообразии воспринимается Слово, соединяющее миры прошлого и настоящего, земное и небесное, хлеб насущный и единое на потребу – всё, что нужно человеку для ощущения себя неотъемлемой частью наРода.

Произведения, включённые в книгу, рассчитаны на читателя разного возраста и знания, и автор поэтому предстаёт в одном случае – сказителем-ведуном, в другом – затейливым вралем-варакошей; бывалым человеком расщедрится на разговор, а то историком-краеведом поделится архивными находками и снабдит их комментариями, согласно настоящего времени. В каждой из ипостасей рассказчика – лирического героя книги – прослеживается единый посыл, одно заветное желание, которое писатель хочет донести читателю: «Язык наш – отцово наследство. Передать его надо в сохранности следующим поколениям, он связывает нас с прошлым, в нём следует искать ответы на вопросы настоящего и будущего. Без знаний языка вопросы предкам не задать, ответы не услышать, тайны не раскрыть».

С первых страниц книга обращает внимание на то, что знание и использование родного языка отнюдь не является само собой разумеющимся делом, что язык

не есть незыблемая, неизменная во времени данность. «На каком языке мы ныне говорим? На оскоплённом реформами русском? Или российском?».

К вопросам писателя – свои добавляются. Допустим, что-то в нашей речи, бывает, и промелькнёт стародавнее, но смысл – всегда ли мы применяем то или иное слово или оборот с присущим им значением и смыслом?

Просветительскому началу книги «Отцово наследство» чужда дидактика. Александр Чашев деликатно использует старый добрый метод – «развлекая, обучай», и он развлекает читателя в самом добром значение этого слова – увлекает рассказом. Во всех разделах книги искрится познавательное зерно, и обыденное когда-то, а сегодня редко слышимое в нашей речи слово у писателя направлено на выявление примет северной природы, человека, животных, мира явленного и потаённого. Он словно в живую воду опускает слова, значения которых, порою, для нас, если не окончательно утрачены, то сильно затемнены. Так, например, детям младшего возраста, не раз слышавшим заклинание сказочного Иван-Царевича – коню: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!», откроется исконное значение этих слов. В сказке «Сивка с горки», на вопрос малого внука, скоро ли весна, бабушка отвечает: «Да уж, внучек, истовённо сивка под гору идёт, а бурка на гору крадётся». Мальчику – загадка: причём же тут конь вещий, когда о весне вопрос. «Обняла бабушка внука, в ихор поцеловала: – В сказе-то, может, про коня и написано, белеюшко. Только вот исстари снег у нас сивкой зовётся, а тепло – буркой». Несложно будет ребёнку после такого пояснения представить, что конь Ивана-Царевича, как снег белый, а нравом горячий. Так очищаются, омываются слова и прорастает зёрнышко познания.

Академический словарь русского языка в семнадцати томах содержит около ста двадцати тысяч слов, сообщает писатель. И для сравнения приводит данные «Архангельского областного словаря», собранные лингвистами МГУ с 1956 года и пополняемые до сих пор, – более двухсот тысяч слов! Что мы потеряли? – спрашивает он, и отвечает: «Красоту полных явного смысла слов. Как же её не хватает».

Утраченную красоту возможно и должно восполнять опять-таки красотой, явленной в творчестве. В этом Александр Чашев, как истинный потомок поморов, наследует писателям – Борису Шергину, Степану Писахову, народным сказителям – Марии Кривополеновой, собирателям устного творчества, таким, как артистка Ольга Озоровская.

«Русский Север – это был последний дом, последнее жилище былины, – писал Шергин в книге «Изящные мастера: поморские былины и сказания». – С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен».

Своеобразным отсветом великолепия северных былин хочется назвать сказы из первого раздела книги Чашева. Надо отдать должное писателю, знающему ценность самородному северному слову, неподражаемому говору поморов, и при этом деликатно пользующемуся этим богатым выразительным средством, – он избегает стилизации и фестивального фольклора. Языковые старины поморские в его письме появляются безыскусно, словно сами собой, сообразно героям и месту. Этаким сказочным клубочком ведут они читателя к сердцу русского человека: в одном обличье человек предстаёт современником, в другом – предком, а в ином – сказочным персонажем, у которого транспортным средством может оказаться «ступолёт». Эти признаки местного или архаичного говора не самоцель, главное для автора – неповторимая мелодия пейзажа, колорит северного дома, тёплый свет в лицах героев его разнообразных повествований. Да, слова, поморская манера изъясняться применены им не в подтверждение подлинности героев: истовое обаяние людей, их широкую душу, сметливый ум, крепкий характер писатель открывает нам в их судьбах, в счастье полноты жизни и сквозь несчастья исторические, бытовые, личные.

Вместе с тем, Александр Чашев считает приемлемым, наряду с обиходными народными словоупотреблениями, идущими из глубины веков, прибегнуть к профессиональному сленгу, дабы выявить экспрессию и стилистическую окрашенность речи персонажа. В миниатюре «Бич», например, писатель вначале рисует языковой портрет моряка, ставшего *бичом – бывшим интеллигентным человеком*. И лишь после того, как посредством экзотических слов «тайного языка» произошла идентификация персонажа, определилась его принадлежность к некоей социальной группе, писатель затрагивает вечную нашу тему о том, как «ссорятся божья душа с грязным телом».

Разным трудом живут люди, о которых рассказывает автор «Отцова наследства». Нашлись у него слова и для ёмкой характеристики положения большинства своих коллег по литературному труду, творящих в условиях современного российского издательского дела и книготорговли.

«Встретил одноклассника. Полвека не виделись. После восьмилетки он устроился на завод, слесарем до выхода на пенсию оборону крепил. О том, о сём поговорили, мне вопрос задал:

– Ты, слышал я, книги пишешь? И много за них платят?

– Да нет, – отвечаю, – плачу за них я, а не мне.

– Как это? – удивился собеседник.

– Да очень просто – сочиняю, издаю за свой счёт и продаю сам.

– С прибылью, наверное, не хилой?

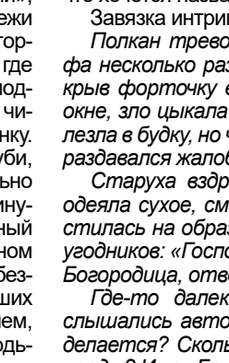
– Нет прибыли, в лучшем итоге окупаю стоимость издания.

Посмотрел на меня собеседник внимательно, словно рентгеном просветил, паузу выдержал и участливо так спросил: – Ты что ё…больной?».

Приведённая полностью миниатюра «Диагноз», говорит, конечно, не о состоянии здоровья современных российских писателей, а скорее, о сильном общественном недомогании – о мире перевёрнутых ценностей. И недомогание это, судя по очеркам раздела «Читая страницы минувших веков», есть не что-то из вновь приобретённого, а хроническое, оно издавна проявлялось в разных сферах человеческой деятельности в иные периоды нашей истории. «Не ценит просветителей государство российское, – делает вывод писатель в очерке «В поисках идеала». – В любые времена». И в глухую старину, и в самую новейшую пору «Увы, не дано понять движений блаженных душ «нормальным» людям». Нет сомнения, что и у читателя найдётся немало тому примеров. Что говорить, «нормальным», живущим по закону *время – деньги*, всегда было трудно понять блаженных, чудаков, занимающихся убыточным промыслом *сеяния разумного, доброго, вечного*. А только сами эти чудаки живут отнюдь не блажью, но уверенностью, что без них, без их усилий мир задохнётся от посредственности.

Всем нам, «Ходящим по морю житейскому», – так называется один из очерков книги, – нужна крепкая вера, подобно апостолу Петру, чтобы удержаться на бурных его водах, надобна вера в справедливость. Мыслями об этой вере пронизаны все части книги Александра Чашева. Писатель доносит их в художественной форме, образно, отыскивая для того верные живые слова и наделяя ими речь героев. Даёт, словно в поддержку своим персонажам, высказаться историческим личностям, поднимая архивные материалы. Наконец, открыто говорит о справедливости недвусмысленным языком публицистики:

«В сердцах насельников Русского Севера, русских по плоти, крови и духу людей жил нравственный закон. Просты его предписания: живи, не мешая жить другим, уважай чужой труд и плоды его, помоги ближнему, когда это требуется, умей благодарить от души, будь нужным хоть кому-то, и самое главное – люби. Ибо житейское море непостоянно, ходящим по нему без взаимной помощи пробыть не можно».



Александр БАЛТИН

Векторы великих судеб

Люди и судьбы в свете мемуаров, биографий и духовных поучений

Мемуары маршала Жукова

Мальчишка впервые идёт на жатву с отцом, зарабатывает трудные, кровавые мозоли. Мальчишка из недр, из самого густого расплава народной плазмы, постепенно поднимающийся незримой, но такой очевидной лестницей. Он становится маршалом победы, и в долгих неспешных воспоминаниях о своей жизни осмысливает её, размышляя о сущности былого.

Язык мемуаров густ и прост одновременно – он тоже из гущи: всех тех, кто болью собственной судьбы познал железные объятия несправедливости:

«Вдруг вдали показались какие-то ярко освещенные многоэтажные здания.

– Дядя, что это за город? – спросил я у пожилого мужчины, стоявшего у вагона.

– Это не город, паренек. Это наро-фоминская ткацкая фабрика Саввы Морозова. На этой фабрике я проработал 15 лет, – грустно сказал он, – а вот теперь не работаю…Каждый раз, проезжая мимо проклятой фабрики, не могу спокойно смотреть на это чудовище, поглотившее моих близких…».

Фабрика-чудовище, и золото чудовищного крестьянского труда: и, казалось, это будет навека, окоснеет, покроется бронёй, которую не разбить…

Броня была разбиты, и события семнадцатого года были естественным, долго зревшим прорывом к той самой, исконной, желанной справедливости.

Страшным прорывом.

Сопровождавшимся страшными последствиями.

…После унижений и побоев в мастерской служба в кавалерии была воспринята, как радость: военное дело входило в объективную реальность юноши, ещё не знавшего, как развернётся его дорога. Скрытая в каждой судьбе, она может быть развёрнута только тем, кто слышит все подсказки и умеет читать закрытые от других знаки.

Гражданскую войну Жуков описывает хронологически, детально, сухо и точно, фиксируя многие подробности, на глазах становящиеся историей.

Некоторый схематизм в образах офицеров и соратников едва ли портит общую – литературную – картину.

И, разумеется, большая часть мемуаров посвящена Великой Отечественной: тому макро-событию, в котором Жукову суждено было сыграть первостепенную роль.

Тема ответственности звучит избыточно – тема мучительная, красная, бьющаяся больным пульсом…

Во многом ныне обвиняют маршала Жукова (интересно, как обвинители представляют ход войны и движение к победе без него?), вероятно, есть в обвинениях и доля справедливости; но жернова истории для того и мелют, чтоб оставалась чистая мука смысла: и белая эта мука подвига, жизни, преодоления, страданий, радости и горя так сверкает со страниц воспоминаний маршала, что значительность жизни его искупает любые грехи и нюансы поведения.

Николай Амосов как писатель

Он писал об алгоритмах разума, и о взаимодействие мыслей и сердца; он писал об организации здоровья, и утверждал, что в большинстве болезней люди виноваты сами – иногда в силу лени и жадности, иногда от неразумности.

Он ставил разум выше фантомов, какие ныне пронизывают жизнь, предлагая нечто иллюзорное считать основополагающим.

В книге «Голоса времён» он ставил целью самопознание, и определял его ступени как «кем был, как менялся, что осталось…». И выпуская в реальность собственную исповедь, Амосов – стилистически ясно, отчасти жёстко – рисовал эпоху: война; шестидесятые, пронизанные надеждами; медицинские открытия, сулившие изменения жизни многим людям; потеря надеж, новые их волны в восьмидесятых…

Кругло, выпукло, объёмно.

В книге «Искусственный разум» Амосов выдвигал гипотезы о механизмах психической деятельности – таких, как узнавание, понимание, сознание, воля, творчество…

Он работал и в научно-фантастическом ключе – в «Записках из будущего» рассматривается анабиоз, как возможное средство борьбы со смертельными болезнями…

Казалось бы, славы медика, хирурга, общественного деятеля было достаточно, но бесконечная одарённость Амосова не умещалась в многообразие этой деятельности, требуя новых и новых выходов, и представляя нам фигуру современника… почти космического масштаба.

Духовный мёд Антония Сурожского

Духовный мёд добыть сложно: требуется огромное сосредоточение, отказ от многого, что так привлекательно для бытового, низового, обычного человека; требуется перерастание себя – как в старых готических соборах символически изображалось в камне: рыцарь, стоящий над поверженным чёртом – высшее «я» человека одерживает победу над суммой вожделений и похотей.

Духовный мёд становится вдвойне недостижим, ибо большинство, варясь в недрах бесконечной человеческой плазмы, не задумывается над его существованием, а задумавшись, не верит, что это возможно – слишком разубеждает жизнь, слишком высоко, как кажется большинству, громоздится бытовая башня карьеры, ращения детей, необходимости зарабатывания денег…

Какое уж тут духовное!

И здесь книги Антония Сурожского могут сыграть роль своеобразного маяка, чей острый и тонкий луч прорезает глыбы тьмы, окружающей малых сих (то есть нас, увы)…

От чтения любой (почти любой) из его книг сразу создаётся сложное ощущение: человек жил на оборотах или частотах, которые и представить непросто. Он точно постоянно предстоял перед высшим началом, неустанно испытывая благоговение, помноженное на световое умиление, творя Иисусову молитву, оставаясь при том живущим среди повседневности, где труды свои свершал с почтительной радостью.

О чём бы ни писал Сурожский – о вере или вечерне, молитве Господней или отрезках собственного пути, – фразы, а скорее даже поэтические строки веры текли именно духовным мёдом: питающим и благотворным.

Его богословие не имело никаких признаков нудного начётничества или головоломных словесных построений, расшифровка которых приводит, как правило, к плачевным результатам: пустота в красивой обёртке. Его богословие дышало живою жизнью, пульсировало неподдельной любовью к человеку, в каждом из которых был явлен брат; оно буквально звучало любовью к Богу – той субстанции, какая настолько закрыта от большинства, что кажется ирреальной.

И вот свет, льющийся со страниц Сурожского, убеждает – это чувство естественно и просто, и сделать его своим можно вглядываясь в себя, оставаясь на какое-то время во внутренней тишине, отвращаясь – хоть на сколько-то – от бесконечного круга суеты и метаний, стяжаний и житейского попечения.

К тому же большинство книг Антония Сурожского написано благородным, словно от духовного света занимающим сил языком: языком ясным и чётким, поэтическим и возвышенным…

Стоит вглядеться в глаза митрополита Антония и лишний раз убедиться, что поговорка – глаза есть зеркало души – абсолютно правдива, и, попытавшись следовать путём Антония, можно взрастить свою душу, сделать её большой, познать подлинные дары духовного мёда…

А это ли не высшая радость – когда не цель – всякого человека?